



## В. ПОЛОНСКИЙ

### Исповедь одного современника

Куда ты скачешь, гордый конь,  
И где опустишь ты копыта!..

*Пушкин<sup>1</sup>*

Эх! Тройка, птица-тройка!  
Русь, куда ж несешься ты?..

*Гоголь*

Убирайтесь вы все к черту!  
Спать хочу!..

*Розанов*

#### I

В одной из своих последних книг («Уединенное») В. В. Розанов несколько строчек посвятил правде. «Правда, — писал он, — выше солнца, выше неба, выше Бога: ибо если и Бог начинался бы не с *правды*, — он не бог, и небо — трясины, и солнце — медная посуда».

Слова глубоко верные, но... но замечательно при этом вот что: написав «панегирик» правде, Василий Васильевич Розанов, быть может, «однодневно» с этим панегириком *солгал*, покривил душой. И не однажды, а раз, и другой, и третий. Т. е. не то чтобы солгал, как это делается обыкновенно, *случайно*, без задней мысли, а с умыслом скрыл правду, объявив неправду. И когда его упрекнули в глаза, и, конечно, просили объяснений (ибо ведь случай-то был из ряда вон выходящий), В. В. Розанов ответил вот как:

— Если я лгал, — сказал он, — то просто в то время не хотел говорить правды — ну — «не хочу и не хочу».

— Это дурно.

— Не очень и даже совсем не дурно. «Не хочу говорить правды». Что вы за дураки, что не умеете отличать правды от лжи? Почему я для вас должен трудиться?

Т. е., написав апологию правды, г. Розанов вместе с ней написал, как будто, апологию лжи. И просто непонятно, как это могло случиться: «правда выше Бога», и «не хочу говорить правды». Явление загадочное и в русской литературе встречающееся *впервые* (так откровенно, цинично). Такое противоестественное соединение в одной душе двух полярностей может вызвать мысль, будто мы имеем дело с одной из тех «карамазовских» натур, которые, по словам Достоевского, способны вмещать невозможные противоположности и разом созерцать обе бездны, «бездну над нами, бездну высших идеалов, и бездну под нами, бездну самого низшего и зловонного падения». Это весьма любопытно и заслуживает внимания.

У В. В. Розанова чередование «высших идеалов» с безднами «низшего падения» происходит непрерывно. Он вот, по его собственным словам, «однодневно» (т. е. в один день) писал, например, «черные» статьи с «эс-эрними». *Чудовищно!* Но он уверяет при этом, что *в обеих был убежден*. С наивным (или наивничавшим) цинизмом он признается, что писал *во всех направлениях*, и при этом *искренно*; но в другом месте с тем же цинизмом объясняет, что писал потому, что *«деньги дают»*. В третьем месте он, наконец, заявляет, что ему в широкой степени *«наплевать»*, какие писать статьи, «направо» или «налево».

«Все это ерунда и не имеет никакого значения!»..

«Это безнравственно!» — завопит иной моралист. — «О, нет! — ответит Розанов. — Я не враждебен нравственности, *а просто не приходит на ум*».

— Но ведь это разврат! Гибель! Это бесчестно!

— Что же делать? Таков, Фелица, я развратен<sup>2</sup>.

И с невозмутимостью неуязвимой, не стыдясь, среди бела дня, он азартно, захлебываясь, защищает одну мысль, одно какое-нибудь положение, какую-нибудь программу, чтобы завтра (а может быть, и сегодня), и также с захлебыванием, с азартом защищать программу другую, враждебную первой, в корне первой противоречащую, — и вся его литературная деятельность последних лет есть история поразительной и *беспримерной* игры святыми понятиями и святыми увлечениями, и нет такой святости, которую, превознося на высоту недоступную, он с карамазовским каким-то сладострастием не повлек бы затем по земле, топча ногами. В одной из своих последних книг он *плакал* о

судьбе русского народа и был уверен, что слезы его разделят другие — и разве можно было слезам его не поверить? Но спустя некоторое время он показал, что слезы эти были пустяками, бабьей слезливостью, ибо какая же цена этим слезам, если, по его же словам, он «бесспорно презирает русских», «до отвращения», и опять изумление охватывает читателя: *да как это можно!* Какие теплые, какие горячие строки посвятил он в той же книге демократии, ее победе, самоотверженному героизму революционеров! Кадеты были для него пределом государственной мудрости — «отцы настоящего, реального, осуществленного русского конституционализма», и с каким наслаждением и пиететом рисовал он в книге портреты Милюкова, Родичева, Петражицкого! <sup>3</sup> Трудовики (даже к Аладьину <sup>4</sup> относился Розанов с любовной лаской) имели, по его словам, колоссальные заслуги перед родиной: помилуйте, они были движущей силой, «паром революции»; в другом месте он признавался чистосердечно, что, несмотря на весь свой консерватизм, любил даже революцию (т. е. *читать* о ней — торопливо прибавил он при этом), а в великолепной статье «Ослабнувший фетиш» с убедительностью показывал, как обессилел, завял и поник старый фетиш абсолютизма — и с какой радостью приветствовал он ослабление этого фетиша!

«*Не более абсолютизма, да здравствует свобода!*» — это одушевленно прокричал в то время Розанов; в революции видел он показатель живой мощи русской нации, в осуществлении свободы видел залог нашего спасения, и даже укорял однажды какого-то ученого мизантропа: «Не верить этому, ей-ей, антихристово дело!»

Если верить г. Ашешову <sup>5</sup>, в то время Розанов думал даже примкнуть к социал-демократии.

Но спустя некоторое время, быть может, тем же самым пером г. Розанов обозвал нашу революцию *лакеем*, а русское общество обругал *свиным обществом*, подчеркнув, что оно имело именно не *лицо*, а *морду*, а «отцов русского конституционализма» называл *потным отродьем* и писал про них: «Пороть на съезжей профессоршк. В солдаты профессоров!» — и славословил Аракчеева, который, по его словам, один был более либерален, чем все ничтожества из 20 томов «Былого».

Русская революция, столь лучезарная недавно, оказалась попросту «русским хвастовством, прикинувшимся добродетелью, и русской ленью, собравшейся перевернуть мир»; у социал-демократов, к которым он хотел «пристать», была одна тоска: «к кому бы угвоздиться на содержание!», а революционеры вооб-

ще, те самые *полусвятые бессребренники*, сквозь все казематы и высылки сохранившие высокий идеализм, — они, оказывается, занимались вовсе не спасеньем России, а «вонзали нож в грудь своей матери», продавали ее немцам, и австрийцам, и англичанам, и еще кому-то, и «не надо давать амнистии эмигрантам» — это иступленно завопил он на страницах благочестивого «Богословского вестника», — и все это свое отступничество, все это свое блудословие, эту дьявольскую игру «чем люди живы», он заканчивает своим «сегодняшним» символом веры:

— Верю в Царя Самодержавного... До этого ни шагу вперед.

## II

Однажды, рассуждая о Гапоне, Розанов с удивительной проникновенностью обронил по его адресу несколько метких слов: «Есть люди об одном цвете, черные, белые, — сказал он. — Но есть еще *несчастно-рожденные* люди, пегие, которые совершенно *искренно* не могут одному чему-нибудь служить, и совершенно *искренно* служат двум господам; т. е. *измена* то одному, то другому и в конце концов всему и всем составляет самый *стержень, истину* их души».

Это про себя сказал Розанов. Он сам — один из этих «несчастно-рожденных», *пегий* писатель, для которого *измена* то одному, то другому, составляет *истину* души. Достояна внимания при этом не сама пегость Розанова, а та его особенность, что он *панегирист* пегости, что он *идеолог* пегости и вдохновенный ее проповедник — и голос его не остается гласом вопиющего в пустыне. Розанову внимают, он имеет аудиторию. Ведь открыл же ему свои страницы «Богословский вестник» для изуверской статьи — «Не давать амнистии эмигрантам!»; ведь оплачивает же щедрой рукой его строки «Новое время», ведь читаются же (и перечитываются) эти последние *пегие* его книжки, и если в одних они вызывают недоумевающее (и негодующее) отвращение, то в других, — совсем наоборот, — восхищение, преклонение, почтение. Ведь написала же ему некая «сидящая в колодце»: «Каждую вашу строчку читаю с жадностью и ищу в ней “розановщины”. Читаю “Уединенное” и “Опавшие листья” с жадностью день и ночь»; ведь написалось же (правда, у г. Бурнакина<sup>6</sup>), что «после Толстого Розанов единственный, имеющий право на внимание Европы». Разве восторги эти не придают последним писаниям г. Розанова некоторой значительности?

Но если бы даже не было этого почтительно-восторженного преклонения, мы хотим быть справедливыми. Г. Розанов и в

самом деле писатель с выдающимся литературным талантом, с большим пытливым умом, смелым и решительным. Ведь, кроме «Уединенного», «Опавших листьев» и других книг последних лет (о которых мы и будем говорить) им опубликован ряд работ по вопросам философии и религии, религиозной политики, просвещения и семьи.

В плоскости *его* мировоззрения мысли, высказанные Розановым в работах, ярки, обоснованы с талантом, и это является лишним поводом к тому, чтобы мы серьезней отнеслись к его «пегости». Ведь, если г. Розанов в самом деле «выдающийся» мыслитель, как утверждают многие, то чем является его «пегость», его этическое «безобразие»? И можно ли все это оторвать от его «гениальности»? Можно ли вообще разорвать человеческую душу на части и сказать: здесь вот кончается мыслитель, здесь же начинается «пегий» публицист? Быть может, и в «пегости» своей он столь же «гениален», сколь, скажем, в критике христианства? Быть может, и здесь он «вскрывает», «выявляет», «улавливает» нечто, что в душах простых смертных бродит еще в виде бесформенных облаков?

«Уединенное», «Опавшие листья», собственно, не книги — так они интимны, рукописны, касаются самого «стыдного», скрываемого простым смертным, того, что не выносится на улицу. Но вот нашелся смельчак и распахнул душу свою для встречного-поперечного, сдернул всякие там занавески, обнажился до самых тайных и заветных мест — и весь перед нами голый, неприкрытый, с язвами и пороками, как мать родила. «Уединенное», «Опавшие листья» — не публицистика, не философия. Это признания, confessions, «исповедь», и если бы мы не знали ее подлинного автора, то заподозрили бы в нем сатирика язвительного и беспощадного, который создал мастерское художественное произведение, какой-нибудь «дневник одного нашего современника» \* — и в произведении этом представил нам бездну пошлости и порочности, угнездившейся в душе его героя. Но книги Розанова — не роман. Тем лучше. Отнесемся к ним, как к человеческому документу, как к признаниям не литературного героя, а живого человека, который держит квартиру где-нибудь на Коломенской, торгуется с извозчиками, читает газету, ходит в кинематограф и заботливо оберегает себя от простуды.

---

\* Между прочим: сходство розановских «записок» с «записками из подполья» — в некоторых местах чрезвычайное, чуть ли не до текстуальности. Параллель между этими произведениями вскрыла бы некоторые любопытные черты духовной природы В. В. Розанова.

## III

...У нас нет чего-то...

...У нас нет ни ближайших, ни отдаленных целей, и в нашей душе хоть шаром покати. Политики у нас нет, в революцию мы не верим. Бога нет...

А. Чехов. Письмо к Суворину<sup>7</sup>

Во второй книге «Опавших листьев» Розанов, размышляя о своем литературном амплуа, замечает, между прочим: «Я ввел в литературу самое мелочное, невидимые движения души, паутинки быта». Именно паутинки, серое, невидимое, от чего досадливо отмахиваешься, когда беспокоящим прикосновением оседает это невидимое на руках, лице и вообще на чем-нибудь *живом*. Первое, инстинктивное, что вспыхивает при таком ощущении — порыв: сорвать, стереть, освободиться! И вот одна из розановских «странностей»: таково порыва в нем не рождается. Даже наоборот: он ощутит паутинку, липкую, связывающую, оплетающую, и провозгласит ей: осанна! ибо паутинка для него — благословенна; он радостно замрет, созерцая ее, с одной думой, с одним беспокойством: только бы не двинуться, не шелохнуться, чтобы не повредить, не порвать этой благословенной паутинки.

«Опавшие листья» и «Уединенное» — такое паутинное плетение мелочей, в котором лишь изредка трепещет крупная мысль, как изнемогающее насекомое со сверкающими крыльями. Мелочи, мелочи, мелочи — ползут отовсюду, изо всех щелей розановской души, наползают друг на друга, громоздятся, сталкиваются, засыпают своей трухой искры ума, и когда перечитываешь эти книги, то минутами ощущаешь их, как некое единоборство глубинного и мелкого, чего-то крылящего, пытающегося взлететь — и ползающего, червячного, пресмыкающегося. И всякий раз побеждает последнее; это для Розанова фатально, этого он никак избежать не может.

«Окурочки-то все-таки вытряхиваю. Не всегда, но если с 1/2 папиросы не докурено. Даже и меньше. Надо утилизировать». Эти окурочки звучат у него, как программа, как некое исповедание. Мировая история? Бог? Человечество? — «Наплевать!» Окурочки, — вот что важно и близко. Кто докажет, что человечество выше окурочков? или мировая история? или революция? или (даже) Бог? Окурочки выше! Нет ничего выше окурочков...

И его книжки — какой-то гимн, славословие мелочам быта, вещцам, остаточкам, тряпочкам, пустячкам. Это какой-то сад Плюшкина, где свален в кучу всякий хлам, к которому хозяин

относится с величайшим вниманием, с материнской какой-то заботливостью, и если бы (предположим) этот хлам от него отвезти, что ли, на свалку, или выкинуть куда-нибудь, сжечь — он раздерет на себе одежды, всплеснет руками, в отчаянии падет на колени — и ему, вероятно, будет казаться, что погиб мир, конечно, «его» мир, которым он жил и без которого прожить не сумеет. Бог ушел из жизни. Бог мелочей, паутинок быта.

Однажды он высказал это очень определенно. «У меня есть какой-то фетишизм мелочей, — сказал он. — Мелочи суть мои “боги”», — и спустя некоторое время эти же самые слова повторил в другой своей книге, прибавив к ним: «И я вечно играюсь с ними. А когда их нет: пустыня. И я ее боюсь».

Фетишизм мелочей — такова призма, сквозь которую смотрит на мир Розанов. Жажда мелочей для него так же божественна, как, скажем, жажда славы для Наполеона. *Эта* Розанову не нужна.

Он совсем не Наполеон, этот удивительный русский писатель, и ничего в нем нет наполеоновского. Правда, он глубоко, непоколебимо убежден, что *мог бы* наполнить весь мир «багровыми клубами дыма»... Но «не хочет, потому что сторело бы все», ...потому что «вышел бы большой шум, большое беспокойство», а это ему совсем не по душе. «Пусть моя могилка будет тиха и в сторонке».

И когда Розанову великодушные критики навязывали какое-то наполеонство, какой-то демонизм, Розанов сердился и смеялся над великодушными своими критиками. «Чего им надо? — ворчал он. — Демонизм Розанова! Все статьи начинаются демонизмом Розанова! Откуда? Почему? На каком основании? Я — самый обыкновенный человек». «Позвольте, полный титул: коллежский советник Василий Васильевич Розанов, пишущий сочинения!» А со всех сторон лезут к нему с демонизмом! Человек каждой строкой своей хочет убедить весь свет, что он маленький, слабенький, щупленький старичок, «русский обыватель, уважающий начальство», «человек мирный от природы», который «каждого полицейского почитает своим начальством, а в конке — даже кондуктора конки», а ему подсовывают какой-то демонизм. Демонизм — ведь это нечто титаническое, сверх-порочное, огненное, — а какой же он демон, если все его пороки, по его собственным словам (и это глубокая правда) — *мокрые*. «Огненного ни одного!» Нет, совсем не демон В. В. Розанов! Уж коли толковать, то не о демоническом, а о бесовском, и не о каком-то Великом, а наоборот, о Мелком бесе — «коллежском

советнике», — который, «сидя над морем, на высокой горе, с бумажкой в руках, высчитывал процентные бумаги», для которого его «кухонная (прих.-расх.) книжка стоит “писем Тургенева к Виардо”», по мнению которого «грибная лавка в чистый понедельник равняется лучшей странице Ключевского», у которого не «пороки» и даже не «влечение к ним», а всего только «чесотка пороков, — грязнотца, в которой копошится вошь: огонь и пыл пороков — я его никогда не знал. Ведь весь я тихий, смиренно-мудрый». Ему очень не много нужно. Это, пожалуй, самый невзыскательный из невзыскательных русских людей. Недавно, вот, бушевала революция. Строили баррикады, восставали люди и умирали. Кровь лилась. Плакали маленькие мальчишки. Горько рыдали женщины и ломали пальцы в отчаянии. *Сколько боли! Какая жестокая жизнь! А Розанов?*

«Папироска после купанья. Малина с молоком, малосольный огурец в конце июня, да чтоб с боку прилипла ниточка укропа (не надо снимать) — вот мое 17 октября. В этом смысле я — октябрист». И когда настоящие люди вопреки всяческому преградам продолжали все-таки о чем-то хлопотать, шуметь, волноваться, — этот «коллежский советник», любитель нумизматики и малосольных огурцов, обратился к ним с советом:

«Господа, бросьте браунинги и займитесь библиографией!»

#### IV

Но вот что при этом достойно внимания. Розанов любит малосольные огурцы и не любит политики. Браунингам предпочитает библиографию, т. е. как будто что-то отвергает, что-то выбирает, к чему-то относится *активно*. Но это неверно. В том-то и дело — и это самое *твердое* в Розанове — он к огурцам, и к библиографии, и к своей любимой нумизматике глубоко *равнодушен*. И если вместо политики склоняется к огурцам, то просто потому, что они проще, доступней, спокойней политики, тем-то именно ему и мила нумизматика, что она «удивительно успокаивает нервы» — и в самом деле, какое же беспокойство от нумизматики! *Равнодушие* — истинная стихия Розанова; в равнодушии (как ни странно звучит это словосочетание) — пафос его души, единственная ее правда, неоспоримая, непоколебимая. От равнодушия, от безразличия, от «наплевать» — вся психология Розанова: и его перелетничество, и зигзаги, и безубежденность, и безогненность его пороков, и мелочность, и все прочее. Розанов, по его собственным словам, всегда шел в открытую дверь,

ему всегда было «все равно», которая дверь отворялась; никогда в жизни он «не делал *выбора*», и никогда в этом смысле «не колебался». Был он в мире всегда «наблюдателем, а не участником», жил он «в *своем углу*», и ни до кого ему не было дела, ничего ему никогда не хотелось, и, странная вещь, — это *нехотение* было его истинной страстью; об его «не хочется», уверяет он, разбивался всякий наскок и вообще ему «*хочется* очень редко». «От этого я так мало замешан, соучаствую миру, точно откатился куда-то в сторону и закатился в канавку. И из нее смотрю только с любопытством, но не с “хочу”». И при этом такое томление, и усталость, и тяга к покою, к неподвижности, — и чувствуется эта тяга на каждой странице, в каждой строке его писаний. Ему противна и непонятна торопливость, даже греховной кажется она ему, по крайней мере, как-то заметил он, что люди, которые никуда не торопятся, — это и есть «Божьи люди», так же как люди, которые «не задаются никакими целями», — и все эти признания его покрываются тяжкими вздохами: «Боже, как давно я сам решительно ничего не хочу кроме как сидеть дома, обув туфли и надев халат», и «полежать бы», и «*оставьте все, как есть, не тяните ни туда, ни сюда*». В этих вздохах — весь Розанов, вся его бездейственная душа, вялая, омертвелая, и так велика ее косность, что *истина* (даже истина! — а ведь он так страстно, как будто, искал ее!) не нужна ему, — ибо она связана с беспокойством. «Я не хочу истины, — говорит он. — *Я хочу покоя*» — т. е., в конечном счете — *не хочет ничего!* И дальше Розанов со своей неподражаемой искренностью (не от равнодушия ли?) признается, что не чувствует в себе никакого интереса к реализации себя, никакой *внешней* энергии, «*воли к бытию*». «Я самый нереализующийся человек», — говорит он, да и какая может быть воля к бытию — к реализации себя, — когда он, по его словам, ничего не видит вокруг, кроме *пустоты, безмолвия и небытия*, что он едва верит, едва допускает, что ему современничают другие люди. И оттого, что вокруг нет *никого*, и оттого, что ему *все равно, на все наплевать*, он может славословить кого угодно и что угодно, крест — и виселицу, Бога — и дьявола, низкое — и высокое, идеал Мадонны — и идеал содомский, и, с беззаботностью вознеся что-нибудь на пьедестал, — свергнуть и поволочить по грязи, браня и заплевывая вчерашнего своего кумира. Если говорить, откуда явилась *азефовщина*, которая тоже ведь явление нашего быта, то здесь — ее прямые истоки, здесь ее родина — и кого же обозвать духовным отцом Азефа, как не этого равнодушного к *добру и злу* человека, у которого одни лишь в жизни остались «окурочки».

Г. Мокиевский, который написал недавно в «Русских записках» ядовитую статью о Розанове<sup>8</sup>, увидел в нем только «обнаженного нововременца»; для него совершенно ясно, что Розанов всего-навсего обыкновенный и беспринципный флюгер, подобный всяким прочим отечественным и заграничным. Это похоже на правду, — но, увы! — это не правда, — ибо для Розанова, и мы хотим подчеркнуть это, его игра убеждениями, его хождение по всем церквам, — чуть ли не *символ веры*, который он несет миру; он *убежден*, что никому не следует иметь убеждений, как ни покажется это странным или противоестественным. И что любопытнее всего: Розанов как-то вдруг заговорил приподнятым тоном, от лица какого-то «мы», от каких-то «нас» — «людей нижнего яруса», «которые во власти не участвуют и не хотят участвовать», — и вот, от лица этого «мы» он говорит, что «мы должны оставить все, как есть». «Нам все равно, т. е. успокоимся и будем делать свои дела».

Позвольте — какие дела? И кто эти господа, которым «все равно» и которые «должны оставить все, как есть»?

Это может быть дерзко, но, уверяю вас, вовсе не рискованно, если скажу, что Розанов действительно — глашатай, идеолог, выступающий от имени кого-то, и все то, что говорит он, вызывает сочувственные отклики в некоторых душах, и душ этих не одна, не две, их, может быть, много, их, может быть, к несчастью, очень много, быть может, больше, чем мы предполагаем, чем это нам было бы желательно. Это, конечно, обыкновенные смертные, средние, серединные, серые русские люди, *обыватели*, *вся обывательская Русь*, которую мы забываем, без которой частенько производим наши расчеты, увы! — оказывающиеся нередко расчетами без хозяина.

В книгах Розанова запечатлелась душа обывателя до самых последних ее глубин, все сокровеннейшие тайники ее оказались отверстыми для нашего взора, и нужны были смелость и бесстрашие выдающегося человека, чтобы не побояться, чтобы не постесняться вынести на свет Божий всю постыдную ее скверну, ее боли и страхи, ее дряблость и бедность, ее пресмыкательство перед силой, ее привязанность к «малосольным огурцам», ко всякой мелочи и мелюзге, ко всему преходящему, местному, маленькому, «своему», — взамен непреходящего, большого, «всечеловеческого».

Никогда еще с такой яркостью не была выражена эта язва нашей истории. Воистину, Розанов — гений обывательщины, вобравший в себя всю тоску ее, всю пошлость ее, все бессилие ее, — и он не просто отразил это на своих страницах, он *возвел*

*обывательщину в принцип*, провозгласил это свое «все равно» — как некое откровение, — он даже целую программу объявил: разбить все яйца и сделать яичницу, чтобы все перемешалось, и однажды этот новоявленный Заратустра с уличной тумбы обратился вдруг к толпе с такой речью:

— «Народы, хотите ли, я выскажу громовую истину, какой вам не говорил ни один из пророков?

— Ну? Ну? Хх...

— Это, — что частная жизнь выше всего.

— Хе-хе-хе! Хо-хо-хо... Ха-ха!

— Да, да! Никто этого не говорил: я первый. Просто — сидеть дома и хотя бы ковырять в носу и смотреть на закат солнца.

— Ха-ха-ха...

— Ей-ей. Это — *общее* религии. Все религии пройдут, а это останется. Просто — сидеть на стуле и смотреть вдаль».

Он, в сущности, только тем и занят, что восхваляет эту свою «частную» жизнь», только то и делает, что строчит ее апологию, — и как ядовито чернит и клеймит всякого, в ком подозревает иные чувства, — недаром страстной, свирепой ненавистью ненавидит смертельного врага своего, Салтыкова-Щедрина, — и изрыгает на него такую ужасную хулу, что просто столбенеешь, читая ее, так она невероятна, разнузданно-дерзновенна.

Он как-то упрекнул Льва Толстого в пошлости, в пошлой жизни, и тем самым высказал к «пошлomu» свое отрицательное отношение, но сам только и делает, что насаждает пошлость страшнейшую, — и, ведь, говоря откровенно, его последние книги — *пошлейшие* книги не только в русской, но, пожалуй, и во всей мировой литературе, а сам этот «коллежский советник Василий Васильевич Розанов, пишущий сочинения», возведший эту пошлость в принцип, барахтающийся в ней, словно в лазурных волнах какого-то Средиземного моря, — кто он, как не «Великий Пошляк» Русской Литературы, к которой, разумеется, принадлежит со всеми своими мокрыми пороками и грязнотцами. Ибо Розанова ни из русской истории, ни из русской литературы не вычеркнешь.

И Розанов прекрасно сознает, что «розановщина» — явление хотя и личное, индивидуальное, но вместе с тем массовое, «всехное».

«Я начал, но движение это пойдет», — уверенно заявляет он.

Что ж: доля правды есть в этой его уверенности. «Розановщина» выходит за пределы души одного только В. В. Розанова.

Мережковский Д. С., как известно, не поклонник Европы. Мерещится ему в ее лице что-то пугающее, отталкивающее, и будущее Европы для него темно. Но вот, побывав в этой Европе, он возвратился домой, восвояси, в родную Россию. И поведал нам о тех впечатлениях, которыми подарило его родное лицо. Получилось вот что.

«Аполитизм», «невозмутимость», «неуязвимость», «непроницаемость» для всех вопросов общественных. Никому ни до чего дела нет, хоть кол на голове теши! Ну ее к черту, политику!» («Было и будет») <sup>9</sup>.

Вот она, Россия-матушка! Но в чем же беда ее? Почему, в самом деле, она так «аполитична» и при первом подходящем случае «чертыхается»? И откуда вообще в ней это? Не может ведь того быть, чтобы все это у нее было в крови, душевное, нутряное, чтобы в этом «ну вас к черту» была ее душа? «Ужасный звук гармоники, сумасшедший смех и плач вместе, — вся Россия», — говорит Мережковский и страницей дальше, что уже совсем неожиданно, заявляет: «Мы погибаем от бесстыдства» и еще: «Русская терпимость — дом терпимости» <sup>10</sup>.

Какие страшные слова! Бесстыдство, терпимость, но ведь это «розановщина», ведь это то самое, о чем мы только что говорили! Т. е. как? Розановщина — Россия? Та Россия, которая такой мучительной любовью держит в плену наши сердца и умы? Как же это могло случиться? Да полноте, правда ли это? Но послушаем еще г. Мережковского.

Он с горечью рассказывает в своем дневнике о том, как Религиозно-философское общество назначило однажды беседу о свободе совести, слушатели же собирались вяло, нехотя. А вот на доклад о теософии — валом валили, легко, жадно, радостно, как будто этого и ждали. Вопрос о свободе совести, рассуждает г. Мережковский, слишком *действенный*, к чему-то обязывающий. А теософия хороша именно тем, что она ни к чему не обязывает — анестезирует, убаюкивает в отвлеченности. Теософские речи слушаются, как пение Шаляпина. А этого-то нам и нужно. *Все, что угодно, только бы не менять ничего в жизни, ни за что не отвечать. И главное, не пробуждаться от смертного сна, в котором не чувствуешь боли.* Тут же он обзывает русских людей сонными мухами, ищущими смерти, которую им обещает теософия.

Тяжелые, горькие слова. Их нельзя читать без *испуга* и боли, и тем боль острее, чем больше чувствуешь в них правду, жесто-

кую, обидную и... страшную. Но надо иметь *мужество* взглянуть правде в глаза, изведать всю глубину ее, всю угрозу ее, понять, что она не случайность, навеянная жестокостью одной какой-нибудь эпохи, а тяжкое наследие всего нашего прошлого, всей нашей многострадальной и неудачной истории. Об этой правде, не умолкая, говорит наша художественная литература — единственно великое, что мы сумели создать; о ней на каждом шагу твердит наш неладный быт, «замирающий» темп нашей жизни, распыленность нашего общества, вечные наши неустройства, весь лик «Старой России», возлюбивший покой и неподвижность. И так властительна вековая истома, так сладко дремное оцепенение, что нужна какая-нибудь катастрофа, какое-нибудь великое несчастье, «гром с ясного неба», чтобы растолкать, расшевелить, пробудить ее к жизни. Тогда только русский человек встряхивается, и, не пришедши в себя, с видом еще очумелым, хватает, что под руки попадет, рубит, ломит, крошит, — куда не столкнется с твердым препятствием. Здесь — точка. Опускаются руки, клонится голова — так непреодолима преграда! — и новый сон до новой катастрофы.

Это с удивительной яркостью сказалось в Розанове. Мирно, вместе со всей необъятной Россией, дремал он, погруженный в созерцание своих мыслей о Боге, поле, семье. Но «гром грянул». На плечи Розанова свалилось несчастье. Встрепенулась Русь: *как, что, где, почему?* Розанов был одним из тех, которые, проснувшись, сумели оценить все значение происшедшего. И при этом произошло любопытнейшее явление.

Реакционер, *славянофил*, идеолог и апологет Старой России, в годы, последовавшие за японской войной, он сделался западником отъявленным, убежденным.

Словно прозрев под ударами испытаний, он как будто понял, что Россия погибнет, если не совершит над собой какого-то усилия, не вырвет чего-то из своей души, не перестанет быть рабой, покорной и терпеливой. Розанову были тогда видны все корни. Неумение действовать. Неохота действовать. «Для всего этого надо иметь *привычку*, — говорил он, — надо иметь *обычай* действовать» — «а у нас таких обычаев не водилось. У нас не было деятельности, действительности, настоящей истории». По его словам, у нас была переписка чиновников, — а истории у нас не было. Мы разлагались без шума, без событий. Шума не было. Но гниение? Оно везде было — и через несколько страниц он опять спрашивал: «Можно ли сказать, что русские имели свою историю? Сомневаемся. Была “история русского терпения”, а не история России, как нравственного лица... Сколько терпения!

Боже, сколько терпел русский народ, безгласно, глухо, с зажатым ртом, перехваченным горлом... Сколько маленьких деспотов, азиатских ханов над бедным, рабским населением России! И он знал, в чем здесь было дело. Если бы не наша поразительная *нравственная вялость*, — вздыхал он, — не *безразличие к дурным запахам души*, к дурному запаху дел и жизни, какое воспиталось в нашем народе рабством, пригнетенностью, подневольностью. В нашем прошлом Розанов видел одно только терпение; наши святые представлялись ему образцами терпеливости; он искал и не находил *силы* русской души, размаха таланта, сверкания гения. «Этого не было, — говорит он, — или было случайно. Поэт это выразил в стихе, поразившем Россию — он сказал о народе, что он:

Создал песню, подобную стону,  
И духовно навеки почил...<sup>11</sup>

Как ужасно это прочитать, — восклицал Розанов, — не говоря уж согласиться. Согласиться с двустижием — это невозможно, ибо *согласиться с ним и не умереть сейчас же самому от тоски и печали невозможно для русского*». Россия, по его словам, вовсе и не жила, а только и делала, что тонула и тонула, но не в прекрасной реке, а в зловонном болоте!

И этот восточник, славянофил и обскурант, друг всех реакционеров, почитатель Победоносцева громогласно отказывался от своего «восточного наследства», отвращал свой лик от востока и возглашал с яростным пафосом неопита: «Ура! С Запада свет!» Ему не нужна больше старая, «святая Русь», — ибо в системе ее были только «терпение, смирение и покорность»: мы нуждаемся в *энтузиазме*, в смелости, в молодости, в бурности, — вот какие у него явились тогда идеи! Ему вдруг стали необходимы *героические дела*, без которых пропадет Россия, а самая любовь его «к матери» приобрела какую-то мужественность; это была уже не преданность раба, благоговейно целующего руку господина своего, сюсюкающая привязанность к дому своему, к грязи и вони своей, — она была любовью гражданина, строгого, нетерпеливого, ревнивого. «Что наша жизнь? — вопрошал он: — Служба, картишки, картишки и служба; еще ухаживание за женой ближнего. Что же еще? Еще? — Сон после обеда. Мало, душно! — рюмка водки за обедом... Смирновской, мягкой, какой нигде в Европе не выделяется... Да, водка у нас лучшая в Европе. И сон такой сладкий, как нигде в Европе. И сладкие сны»<sup>12</sup>.

И нарисовав такую картину — сам содрогаются: — «*Позорное существование*» — и покидает свой стан, бежит к «левым», хватая

ет за платье, за руки, заглядывает в глаза (как перепугался, бедный!), спрашивает, ловит, «не у них ли правда», не они ли владеют «секретом» спасения России. И тогда он еще верил, что и впрямь «они», если вообще можно Россию спасти, вытащить из болота, то это сделают не правые, не люди «востока», не русские азиаты, а именно левые, все эти эсеры, трудовики, кадеты, у которых есть все, — и таланты, и знания, и, главное, *вера* в свое дело, тот *энтузиазм*, которого нет у него, ни у всей «святой Руси». Для него тогда было так ясно, что и «центровики» и правые — «не имеют за душой ничего идеального, и смотрят не вперед, а назад», — т. е. на то же вонючее болото, в котором задыхалась Россия; «в них нет энтузиазма и силы»; никто из них «не умрет за своих Горациев и за свои Пантеоны». А «новые люди во множестве готовы умереть, да и умирали в катакомбах Шлиссельбурга».

А потому, что вокруг все жило, двигалось, кипело, бурлило, было полно «взаимным радостным удивлением», в котором растаял, растопился былой «эгоизм сердец» — он верил, что *теперь смерти не будет*.

Таков «революционный роман» В. В. Розанова. Я верю в его правдивость. Розанов — как и все. Он — все, вот те рядовые люди, которые *дулись в картишки* в то время, как Россия тонула в болоте. Розанов — только самый талантливый из них, самый чуткий, глубже всех их все переживший, определеннее всех их все сказавший, бесстрашнее всех их себя обнаживший. Он первый из последних — был их сердцем, их мозгом, и то, что было у них (и тогда и после) на уме, у него было на кончике пера; потому-то его книги и драгоценны, что в них открывается душа всех этих бесчисленных, миллионных, словно икрою покрывших Россию «коллегских советников», от которых стонет Россия, которыми она вечно тяжела, мертвенна, бездеятельна, терпелива. Когда она, сдвинутая толчком, зашевелилась, Розанов был тут как тут, выразитель ее души, ее чаяний, симпатий и антипатий. Когда же «непреодолимость препятствий» произвела «всеобщее успокоение нервов», успокоился и Розанов; как этого следовало ожидать, он проклял свои вчерашние увлечения и вместе со всей «переутомившейся» Русью твердо заявил: «Баста!».

Победила «Старая Русь». «Стоп. Ни с места! Не тяните ни туда, ни сюда!». Тогда-то В. В. Розанов вспомнил, что ему ни до чего дела нет, что ему «все равно», на все «наплевать», тут он, вероятно, и обругал революцию «лакеем», а русское общество «свиным обществом» и хотел было погрузиться в библиографию, но... что «все равно» и «наплевать» ему даром не прошло, что за этот «холод души» его ждало наказание жестокое, беспощадное.

## VI

В книге своей «Литературные изгнанники» Розанов (в примечании) рассказывает, как он однажды шел за гробом Пергамента. Смотрел, слушал и шагал вместе с другими, бессознательно, машинально. Другие станут на повороте — он вместе с ними остановится. Но когда подошли к кладбищу, его точно осенило: «Да я с ума сошел? За кем я иду? Какое мне дело до Пергамента и всей идущей толпы, Милюковых, Родичевых, с которыми я ничего общего не имею?» — и он повернулся и пошел *равнодушно* назад, не зная, для чего, собственно, прошел пешком весь город. Но так же, — добавляет он, — как это за «Пергаментом»... «проходило и другое все: любовь, дружба, религия, две женитьбы, участие в прессе, в лагерях и партиях»... Даже *любовь*, даже *дружба*, даже *женитьба*, даже *религия*... Боже мой, да как можно было жить с этим, возможно ли это дело, ведь есть в этой *пустоте души* что-то *противоестественное*, греховное, преступное, именно *преступное*, ибо тут нарушены какие-то законы человеческой природы, человеческого естества, чего-то основного, чего нарушать нельзя, невозможно. Или, в самом деле, прав был Корней Чуковский<sup>13</sup>, когда он отыскал у Розанова «колыбельку», около которой он никогда не устанет, никогда не закостенеет, никогда не скажет «наплевать»? Но тогда понятно: Розанов попросту променял весь мир на «колыбельку», для него «колыбелька» все, и ничего другого Розанову не надо.

Это было бы, конечно, для Розанова спасением, даже оправданием, — и тогда он мог бы ликовать, тогда он нашел бы в жизни некоторую точку, около которой мог чувствовать себя твердо и устойчиво; не было бы тогда того внутреннего *беспокойства*, неуверенности, тайного испуга, безотчетного *страха* перед природой, перед Богом, перед людьми (обыватель всего боится), который живет в его душе, который не замечен под маской равнодушия, но проявляется очень часто, всегда, лишь только нарушена правильность в порядке, в благолепии окружающего. Но никакой «колыбельки» у Розанова нет, никакие «чресла» его не спасут, и спасти не могли, просто потому, что *мертвая душа*, — откуда она могла взять жизненную силу хотя бы для этой «колыбельки»? «Душа озябла» — вдруг жалуется Розанов. «*Страшно*, когда наступает озноб души». И много раз возвращаясь к своей душе, он повторяет, что «болит душа», «томится душа», и опять: «страшно, когда наступает озноб души»; «душа зябнет», и вновь о какой-то, очевидно немалой боли, о том, что она «сосет его с детства», что боль в нем — главное, и,

наконец: «все погубило, все погубило. Погибла жизнь. Погиб самый смысл ее». При этом он уверяет (или себя уверить хочет) будто все страдание его жизни именно оттого, что «не позвал вовремя Карпинского». О, явись вовремя, — «Карпинский», наконец, спас, вылечил, избавил бы от страданий человека, которого он любит, о любви к которому много и часто говорит.

Но сколько бы Розанов ни твердил об этой причине, причина, более глубокая, выпирает чуть ли не из каждой его страницы — и при чем тут Карпинский<sup>14</sup>, или Бехтерев, когда мы слышим такое: «*все мне чуждо какой-то странной, на роду написанной отчужденностью*. Что бы я ни делал, кого бы ни видел, *не могу ни с чем слиться*». Этого одного порока было бы достаточно, чтобы наперед предсказать узоры розановского жизненного пути. Отчужденность, неспособность слиться с миром, *атрофия чувства связанности, слиянности с человечеством*, это такой грех, такое преступление, какое не могло остаться безнаказанным. «Страшное одиночество за всю жизнь... Страшная тяжесть одиночества»... вот неизлечимая болезнь Розанова, его «порок сердца», и как бы он ни старался, как бы ни пытался привязаться к чему-нибудь или к кому-нибудь на земле, к семье ли, к церкви, или нумизматике, рано или поздно захочется быть глухим и слепым, ничего не видеть, не слышать, не знать...

«Чужестранцы» на своей земле, как сказал Розанов (Ключевский сказал: *гости*) — русские обыватели вообще всегда одиноки, от всего чем-то отъединены, отчуждены, нет у них «своего», «настоящего», где бы они чувствовали себя полными господами, «хозяевами», оттого-то они так неуверенны, робки — и даже «кондукторов конки» почитают своим начальством. И кому же не пугаться *смерти*, как именно обывателю, которого жизнь привязывает к себе, быть может, потому, что *тепло*, потому, что *не дует*, — а лишь только подует — для него опять страх, опять беспокойство. «Смерть страшна, смерть страшна, смерть страшна», — твердит Розанов. «Я говорил о браке, браке, браке, а ко мне шла смерть, смерть, смерть» и это наряду с твердой, как будто, уверенностью, что «Бог с ним» и чуть ли не в нем самом, В. В. Розанове.

Живет в Розанове чувство какой-то вины перед жизнью, не оформившееся, быть может, скрываемое, затушевываемое сознание: «не то, не то, не так надо было». «Вот и прошла жизнь, — говорит он. Каков же итог жизни? Ужасно мало смысла; ничего особенного, как-то ненужно», и все это потому, проговаривается он, что «*жизнь требует твердого глаза, твердой руки. Жизнь — не слезы, не вздохи, а борьба; и страшная борьба*», а он посту-

пал как раз наоборот. — Он как-то обмолвился однажды о себе, и эту обмолвку вместе с ним могла бы повторить вся многомиллионная российская обывательщина: «*В конце концов, я трус, ибо умел быть смелым только в мечтах, а жизнь прожил позорным ослом, не умевшим ни бежать, ни лягаться*».

Никому не нужный («ни в чем я так не уверен, как в том, что я не нужен»), равнодушный и холодный, российский обыватель хочет, конечно, забыть землю «великим забвением», и создает пессимистическую философию жизни, от которой веет могилой: «Родила червяшка червяшку. Червяшка поползала. Потом умерла. Вся наша жизнь». И Розанов, конечно, изменил бы себе, перестал бы быть *русским* обывателем, если бы не вспомнил о спасительном, универсальном костыле, на который опираются все немощные и убогие.

Когда-то (это было давно) Розанов огненными словами говорил о религии, уводящей с земли, и о религии, землю благословляющей, о забытых прелестях земного, о насыщенной, плодоносящей красоте мира. Как сильно и смело было противопоставление его тогдашнего язычества христианству, какие, наконец, значительные слова сказал он о русской церкви. Теперь все это позабыто. Хроменький, усталый, несчастненький, *болящий*, он не хочет «язычества», до язычества ли ему теперь? («могу ли я вернуться к язычеству? Если бы совсем выздороветь, и *навсегда* здоровым? — мог бы») — и он вспомнил о церкви, он бросился к ней, теперь для него церковь — одно в мире «*теплое, последнее теплое* на земле», та самая церковь, над которой смеялся он таким ядовитым смехом. «Иду в церковь. Иду! иду!» — и вновь охватывает его благолепие храма, свечечки, иконы, и «как хорошо у православных, что целуют руки у попов».

Так, закончив круг своих превращений от язычества к «попикам, кушающим севрюжину», он мог бы, пожалуй, успокоиться и прошептать: «ныне отпускаеши раба твоего» — если бы не это *вечно-розановское, вечно-обывательское*, которое ведь не умерло в его душе, а продолжает звенеть по-прежнему погребальным звоном:

«Все равно», «наплевать», «к черту!».